

# Отклики, встречи, впечатления

## НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО КРАСКИ БОСФОРА

**Б**удто вместе с вращением земли после участия в международной встрече писателей в Софии в июне 1977 года судьба привела меня в соседнюю Турцию.

И вот Стамбул — огромный торгово-промышленный и культурный центр страны, крупнейший порт, раскинувшийся среди холмов и захвативший оба берега Босфора, у самого Мраморного моря. Когда-то тут была речная долина, затопленная морем в антропогене. Естественная гавань Золотой Рог с высокими крутыми берегами искони служила надежным пристанищем морским судам из далеких стран. Удивительно благоприятное географическое положение этого Царьграда — пользуюсь древнерусским названием — не могло не способствовать развитию гигантского поселения.

Давно уже отзвучала на этих вечных берегах «божественная эллинская речь»; и в архитектурной летописи города, в которой причудливо отразился синтез разных культур, прослеживается своеобразная хроника судеб народных и общечеловеческих, складывавшихся в условиях борьбы за господство и существование. Отсюда, еще из византийской столицы на Босфоре, из Константинополя, который некогда был средоточием вселенской культуры, брали свое начало эстетические течения, утонченный вкус, художественное законодательство, каноны книжной словесности.

...А эта каменная громада, что возвышается сейчас перед моим взором над землей? Этот несравненный монумент, сотво-

ренный человеческими руками — Айя-София — Святая София, византийское святилище, являющее собой воплощение христианского великовладычества? Освященная в шестом веке, благодаря удивительной зрелости вкуса и художественному пафосу ее творцов, Айя-София служила впоследствии одним из предметов вдохновения турецких архитекторов и скульпторов Стамбула. Небеспричинно грандиозный этот храм нередко сравнивается с изумительным Парфеноном, который считается классическим созданием.

Сколько минуло веков с той поры, какие грозные и неумолимые смерчи пронеслись над берегами Босфора, сметая все на своем пути... Но византийский собор продолжает неизбежно стоять, словно неприступная твердыня. Что же сохраняло Айю-Софию, что удерживало разрушительные силы от посягательства на нее? Почему отнималась рука человека и он не смел решиться на акт варварства и вандализма? Не останавливало ли их нечто прекрасное, величественное... божественное?! Но когда приходят в столкновение социальные силы, когда сражаются люди, разве не воюют и сами боги, религии, фанатизм?

Константинополь едва ли не в одинаковой мере привлекал к себе пристальнейшее внимание Востока и Запада культурой словесности, речевым искусством, являвшимися высоким примером на протяжении столетий. Достаточно упомянуть в этой связи Акафист Богородице, получивший признание как вершинное творение византийской духовной поэзии.

Но у реки времени свои законы. Неумолимое ее течение многое размывает и уносит в небытие. Не пощадило оно и Византию. И культура эта, достигнув академической своей стабильности, утратила творческий характер, оказалась неподвижной, неспособной воспринимать новизну.

Архитектурный облик Стамбула постепенно менялся, турецкие зодчие возвели многочисленные строения, особенно прекрасны знаменитые мечети — Баязида, Сулеймание, Ахмедие, Бни-Джами, с их высокими и утонченными минаретами... А рядом — изогнутые, узкие улочки и переулочки, сохранившиеся от средневековья, с тесно прижатыми друг к другу домами и нависающими над улицей верхними этажами.

Стамбул — это и своеобразное морское сплетение, где соединяется морской путь из Черного моря в Средиземное с путями, связывающими Юго-Восточную Европу с Азией. А Босфор — кратчайший путь между Западом и Востоком. Сама природа об этом позаботилась, словно бы указывая на то, как следует создавать каналы связей, пути международного движения, духовного общения народов. Здесь, в старинном Стамбуле, предстояло подписать соглашение о сотрудничестве между Союзом писателей СССР и Синдикатом турецких писателей...

Из Стамбула — путь в Анталию, куда мы приехали вечером. Первое, что услышали от друзей, — сообщение о «беспорядках в городе», разгуле реакционных, профашистских сил. В результате вооруженной схватки минувшим днем был убит один из местных фашиствующих главарей. Убит своими же единомышленниками. В городе царил атмосфера террора. Жители опасались выходить на улицу.

Во время ознакомления с Анталией турецкие писатели показали нам, как нынешние вандалы расправляются с памятниками культуры и народного искусства. Мы видели изуродованные статуи, изображающие простых сельчан и городских тружеников, поврежденные картины и мозаику на сюжеты из народной жизни и труда.

Путешествие — это всегда встреча с людьми, их судьбами, надеждами, ожиданиями. В городе Анталия я познакомился с молодым турецким поэтом Метинем Демирташем<sup>1</sup>.

Рассказ его о себе был предельно краток. Родился в деревне вблизи города Анталия, работал слесарем на различных городских фабриках. Получил техническое образование. Продолжает трудиться вместе с братьями в мастерской по производству металлических изделий. Писать стихи начал очень рано. Сперва печатался в студенческих журналах. Теперь — автор сборников стихов, в которых нашла отражение жизнь Турции после реакционного переворота 1971 года. Стихи эти как бы обращены к минувшему, хотя и совсем недавнему. С тех пор в мире произошли многие события. Они не могли не отразиться и на положении в Турции. Но людям свойственно не только оглядываться на прошлое. Всегда хочется надеяться на лучшее. Тем более, что дело касается нашего близкого соседа.

<sup>1</sup> В этом номере в подборке стихов молодых поэтов Турции публикуются и произведения Метина Демирташа (см. стр. 3).

...Беседа началась с обсуждения Софийской встречи, которая заметно интересовала Метина Демирташа, но достоверной информацией он не располагал. Такое впечатление, сказал поэт, словно западная печать, так же как и турецкая, всему происшедшему в Софии объявила бойкот. Пожже, нечто весьма существенное, очень важное имело место в столице Болгарии. Запад явно чем-то недоволен...

Помнится, во время проведения Софийской встречи западные журналисты жаловались, что их не каждый день допускали в зал заседаний и потому они, дескать, не могут ничего писать для своих газет и журналов. Между тем и на открытии встречи и на заключительном заседании присутствовали представители всех видов массовой информации.

Однако на Западе по «таинственным» причинам средства массовой информации с демонстративным «снобизмом» обошли всеобщим молчанием этот широкий писательский форум, в котором участвовали крупнейшие литераторы современного мира, представители многих и многих стран.

Нечто подобное мы наблюдали и весной 1978 года в Нью-Йорке в связи с «круглым столом» советских и американских литераторов, среди которых, можно сказать, находилась едва ли не вся «королевская рать» американской литературы, — печать, радио, телевидение США оставались глухи и немые. Даже пресс-конференция, устроенная по инициативе американской стороны, которая подчеркивала существующую в США традицию — нерасторжимое право и обязанность «открытого общества» выступать перед «всею нацией» и информировать о происходящих конференциях, переговорах и т. д., — осталась без всякого внимания. Между тем советские и американские писатели выступили на пресс-конференции, состоявшейся в одном из отелей в центре Нью-Йорка, и более часа подробно рассказывали о писательских связях и литературных проблемах, отвечали на вопросы корреспондентов... Разве не удивительна эта «последовательность» западных средств массовой информации, разве можно им отказать в «объективности» освещения событий, в «принципиальности» их «свободной» прессы?

Метин Демирташ буквально забросал меня вопросами о Софийской встрече, которая поистине не без причины получила название «литературного Хельсинки». Проходившая под девизом «Мир — надежда человечества» встреча явилась символическим Босфором литератур Востока и Запада... И, разумеется, одним из первых был вопрос о наиболее известных именах участников встречи.

— Их немало... Начать хотя бы с инициаторов и хозяев, — они были представлены такими именами, как Пантелей Зарев, Эмилян Станев, Любомир Левчев, Камен

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО  
КРАСКИ БОСФОРА

Калчев, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Георгий Джагаров, Богомил Райнов. В Софию прибыли крупнейшие писатели Советского Союза и других социалистических стран: Георгий Марков, Константин Симонов, Чингиз Айтматов, Мирзо Турсунзаде, Сергей Михалков, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Ян Козак, Йимре Добози, Йозеф Рыбак, Герман Кант и многие другие — всех не перечислить. В Софию съехались писатели всей земли, живущие болью своего народа и своего времени.

— Скажите, а были там Шолохов, Ивашкевич, Анна Зегерс? — поинтересовался турецкий поэт.

— К сожалению, на самой конференции они не присутствовали по состоянию здоровья. Но имена их значатся в числе литераторов, подписавших воззвание инициативной группы по созыву Софийской встречи.

— А писатели США?

— В «американское созвездие» входили известные писатели: Джон Чивер, Уильям Сароян, Элтон Фэкс, Гор Видал, большой исторический роман которого, кстати говоря, мы собираемся опубликовать на страницах журнала «Иностранная литература»<sup>1</sup>...

Имя Гора Видала не значилось в списке выступавших с трибуны Софийской встречи, хотя он и готовился произнести свое слово. Не все участники успели выступить: их было свыше ста пятидесяти. Но мы смогли оценить дружеское общение Гора Видала, который постоянно был окружен коллегами в кулуарах конференции, вел беседы за чашкой кофе. Были споры, дискуссии, во время которых — хотя, естественно, и не были сняты все проблемы и устранены различия в подходе к современному миру — мы сумели тем не менее лучше узнать друг друга и углубить дух сотрудничества, личные писательские контакты.

И сейчас вспоминается мне выступление Гора Видала в мае 1978 года по американской телевизионной программе «Мёрв Гриффин шоу», которую мне довелось смотреть в Сан-Франциско. Не скрою, рассказ Гора Видала о его новом романе «Калки» вновь вернул меня к дням и беседам во время Софийской встречи. Я воспринял его как продолжение наших размышлений. Но на этот раз Гор Видал выступал уже перед многомиллионной аудиторией телезрителей.

Речь его была острой, сатиричной, обличительной. Запечатлелись слова Видала о том, что по своим взглядам он причисляет себя теперь не к демократам, а к социалистам. Америка, говорил он, никогда не была и не является демократией. Это — страна олигархий, страна, управляемая крупным капиталом, элитой, составляющей всего лишь один процент населения... Все президенты Америки — от самого первого,

<sup>1</sup> Теперь, когда пишутся эти строки, роман «Бэрт» Гора Видала уже увидел свет на русском языке и занял свое место в кругу широкого чтения в Советском Союзе. (См. «ИЛ» № 7—10, 1977).

Джорджа Вашингтона, и до нынешнего — люди денежные, очень денежные, миллионеры. Отсюда и священный закон о неприкосновенности частной собственности.

Конечно же, у столь известного и столь знающего американскую историю и современность писателя были свои резоны для того, чтобы утверждать это. Все не просто, все не без причины. Без изменения самой социально-экономической структуры США невозможно решить кардинальные проблемы — безработицу, энергетический кризис, гонку вооружений и т. д. Баснословные расходы Пентагона должны быть сокращены по меньшей мере на одну треть. Словом, вне движения истории нет спасения...

Не все, разумеется, осталось в моей памяти: шла живая беседа с ведущим программу Мёрвом Гриффином — скорее не на английском языке, а на его разновидности — «американском диалекте». Что-то, видимо, ускользало, скрываясь между слов... Но, думается, мне удалось уловить главное так, как это было произнесено, в том числе, например, замечание Гора Видала, что сейчас ни у демократов, ни у республиканцев нет авторитетного политического лидера, который мог бы стать достойным президентом США. На реплику Гриффина: а такой деятель, как Рональд Рейган, бывший губернатор Калифорнии? — Гор Видал иронически ответил: какой может быть разговор о политике с «подкрашенными волосами и бровями!» При нынешнем положении дел в США, в государственном руководстве, добавил писатель, Америка может потерять все, потерять и проиграть, в том числе и войну, если она возникнет.

Тревожное, неустойчивое это существование.

Между тем Гор Видал не считал уместным говорить о тех же президентах как о людях хотя бы сколько-нибудь интересующихся книгой, понимающих значение художественного творчества, литературы, будто это противопоказано деятельности высших государственных руководителей. А ведь его появление на телеэкране было связано именно с рассказом о книге, новом его романе «Калки», написанном в свете событий — оттремевших, нынешних и грядущих...

Но вернемся к нашей беседе о Софийской встрече.

— А кто был из английских писателей? — задал очередной вопрос Метин Демирташ.

— Английская литература прежде всего была представлена современным ее классиком — Чарльзом Сноу. Его участие трудно переоценить: высокий его авторитет в писательском мире, огромный творческий и жизненный опыт были поистине неоценимы.

— Приглашались ли другие английские писатели?

— Да, было приглашено еще несколько литераторов. Огорчительно, однако, что давние наши друзья, Джеймс Оадридж и

Памела Джонсон, не смогли прибыть в Софию по болезни.

И снова на память приходят встречи с Чарльзом Сноу, Памелой Джонсон и Джеймсом Олдриджем в Лондоне, который я посетил вскоре после конференции в Болгарии.

Свет из Софии... Подобно огню Олимпа, его излучение простерлось далеко за пределы болгарской земли. Возвращаясь на родину, в страны Востока и Запада, писатели понесли с собой факелы, зажженные во время Софийской встречи. И сами участники ее стали живыми носителями духа писательского сотрудничества и творческих контактов. Потому, видно, столь сердечно было наше общение с Чарльзом Сноу в Лондоне, где мы не только вспоминали минувшее, но и стремились посмотреть за горизонт дня нынешнего.

И в Лондоне, как и в других городах на Западе, был спущен непроницаемый занавес, который не пропускал никакой информации о Софийской встрече. И там обнаружилась зловещая фигура умолчания. Об этом мне напомнил Джеймс Олдридж, который тщетно пытался прочесть что-либо на страницах английской «свободной прессы» или что-либо услышать по «беспристрастной» широкоэвентальной сети радиодиффузии Би-би-си. Напрасные старания: глухая стена отгораживала англичан от всего, что было связано с международной встречей писателей в столице Болгарии. Нужны ли здесь комментарии? На западном фронте все еще без перемен. Будто Хельсинки вовсе и не было... Как устойчивы, однако, традиции «свободной» печати и радио, сколько ханжества и демагогии они извергают... К примеру, эта программа британского радио «Глядя из Лондона...». Глядя, но не видя и не слыша. Только глядя. Мир, в котором давно уже вместо солнца светят фонари, едва заметные в густом тумане развлекательности и вседозволенности. Мир, обтянутый лицемерием, апатией, бесчувствием к духовной реальности, которая отчуждена ненасытным стяжательством и потребительской страстью.

— А кто был из итальянских писателей? Альберто Моравиа? — продолжал расспрашивать меня Метин Демирташ.

— Нет, Альберто Моравиа, очевидно, не считал для себя подходящим принять участие в нашем писательском собрании. Причины не известны. Во всяком случае, не физическое недомогание... Зато итальянская литература была представлена такими именами, как Джанни Родари, Альдо де Яко, Игнацио и Пьетро Буттига. Участие их было весьма продуктивным. Помимо всего, по их собственному признанию, они приобрели немалый опыт проведения международных встреч деятелей культуры, опыт, который чувствовался при подготовке конференции европейских писателей в мае 1978 года во Флоренции. Нужно ли пространно говорить о том, что новые международные писательские встречи, имеющие целью развитие творческого духа литературного Хельсинки, не могут не учиты-

вать, очевидно, то положительное, что было накоплено во время Софийской встречи. Да, Софийская встреча служит нам точкой отсчета, когда речь идет об укреплении международной писательской солидарности, дальнейшем расширении литературных контактов, взаимосвязей. И здесь всякий отход от достигнутого неизбежно обернется движением вспять.

Метин Демирташ продолжал интересоваться и другими участниками Софийской встречи, их выступлениями, контактами, носившими неофициальный, дружеский характер. Его интерес, казалось, все возрастал по мере нашей беседы. Один из последних его вопросов был о кубинских и латиноамериканских писателях. Он знал творчество Габриэля Гарсиа Маркеса, Николаса Гильена и спросил у меня, были ли они в Софии.

— Габриэль Гарсиа Маркес на Софийской встрече не был, хотя собирался участвовать. Трудно бывает иногда объяснить поведение творческой личности. Трудно вообще говорить за других. Не хотелось бы мне превращаться в оракула и в данном случае. Остается лишь надеяться, что и Маркес и многие другие писатели стран Латинской Америки смогут участвовать в дальнейших международных начинаниях литераторов. Что касается Николаса Гильена, то он возглавлял кубинскую делегацию и выступил с яркой речью, в которой с особой силой выразил господствовавшее стремление — всеми средствами продолжать борьбу за международную безопасность, за углубление процесса разрядки.

Наш разговор о латиноамериканских писателях, очевидно, по какой-то ассоциации вызвал несколько неожиданный вопрос у моего турецкого коллеги:

— А не приходилось ли вам видеть Че Гевару?

— Да, с Че Геварой у меня были встречи в разные годы...

— В самом деле? Мне как-то даже не верится... Неужели вот сейчас я разговариваю с человеком, который лично знал Гевару, — с жаром произнес молодой поэт.

Наш разговор с Метином Демирташем происходил в машине, которую он вел. Я сидел рядом. Мне хотелось лучше видеть особенности живой природы, простиравшиеся впереди горы, куда лежал наш путь.

— Гевару знали многие, о нем написано немало книг, — продолжал я.

— Вообще, конечно, это верно, но мне впервые приходится говорить с человеком, который сам непосредственно соприкасался с Геварой. И меня особенно интересует ваше личное впечатление.

— Едва ли смогу сообщить что-либо необычайное, тем более с тех пор минули годы. Записей я не вел, а память человека, увы, совершенством не отличается, по крайней мере, моя память.

---

НИКОЛАИ ФЕДОРЕНКО  
КРАСКИ ВОСФОРА

— Но все же что-то запомнилось?! — продолжал настаивать Метин Демирташ.

— Пожалуй, не более чем отдельные моменты разговора.

— Поделитесь, пожалуйста, хотя бы самым малым, что сберегла вам память. Тут всякая крупица — словно жемчуг...

— Из нашей первой встречи в начале шестидесятых годов в Токио запомнились слова Гевары, сказанные о себе самом...

— Позвольте, в Токио?

— Гевара прилетел тогда в Токио во главе кубинской экономической миссии для переговоров с японскими властями и пожелал встретиться с советским послом. Это было еще до установления дипломатических отношений между Кубой и СССР.

— Он, вероятно, и пришел к вам с целью установления...

— Нет, не совсем. Скорее он посетил наше посольство, чтобы лично познакомиться с советскими людьми, с которыми, если не ошибаюсь, ему не приходилось ранее встречаться.

— Вы знаете испанский или он говорил по-английски?

— Нет, я не владею испанским, а он — английским, который доступен мне. Мы объяснялись через переводчика. Гевара был не один. Его сопровождал кубинский военнослужащий в звании капитана, имени которого я, к сожалению, не помню.

— И вы нашли общий язык?

— Верно, нашли — язык взаимного понимания и симпатии.

Метин Демирташ сбавил скорость, вывел машину на обочину и заглушил мотор.

— Извините за остановку... Я хотел бы сосредоточиться на рассказе — внимание как-то раздается, а дорога здесь довольно извилистая.

Я не торопился, остановка не была мне неприятна. Но Метин Демирташ продолжал приносить извинения, повторяя, что утраченное время мы с лихвой наверстаем. Меня же все более удивляла редкостная его учтивость, какой-то внутренний такт, предупредительность. Невольно обращал я внимание на то, как он всех пропускал вперед, первым не прикасался к угощениям, ограничивался самым малым, к тому же в последнюю очередь. И все это получалось у него естественно, непринужденно, поистине «аристократически просто».

Мы вышли из машины. Воздух был напоен степным запахом. Чувствовалось дыхание ветра.

— Простите, что прервал вас, — тихо заговорил Метин Демирташ, в глазах которого мне почудилось едва ли не раскаяние.

— Разговор с Геварой был долгим и увлекательным. Он интересовался всем, и в частности биографией своего советского собеседника, образованием, специальностью. Прошлым и настоящим. Узнав о моих занятиях восточной филологией, Гевара тотчас задал мне несколько вопросов профессионального характера, которые указывали на живую причастность к предмету.

— Китай? — нетерпеливо спросил Метин Демирташ.

— Да, был, разумеется, разговор и о Китае, его культуре, искусстве, философии. Но не это было главным.

— Революция, борьба, мужество?! — спросил поэт.

— Верно, вы угадали... Гевара рассказал и о себе — учился в Аргентине на медицинском факультете. Увлекался учением Павлова о высшей нервной системе, рефлексам...

— Он кончил медицинский? — снова обнаружилась нетерпеливость Метина Демирташа.

— Похоже, что да. Когда же я спросил Гевару, к чему привел его интерес к теориям великого советского ученого, он мгновенно ответил: «К безусловному революционному рефлексу!»

— Непостижимо... Какой неожиданный излом мысли, какая фанатичная приверженность. Нет, не любому божеству поклоняемся мы. Не покорные мы овечки и не склонны следовать за любым пастырем...

Как не вспомнить тут слова Че Гевары: «Это были люди, с которыми делалась революция. Поначалу — мятежники, восставшие просто против всякой несправедливости, одинокие мятежники...» Правда и то, что поначалу была мечта, затем — осмысление идеи, теория и, наконец, реальность. Неукротимость воли, непримиримость к врагам. Человек проявляет себя в наибольшей мере, когда он активен, действует, когда дух борьбы и созидания определяет его жизнь.

Да, мир удивителен, удивителен людьми, их судьбами, поступками, способностью испытать душевное волнение. Людьми, которые всегда в эпицентре ситуаций, событий, человеческих тревог и которым театральный грим противопоказан.

Истина сторонится поспешности, скороговорки. Какое-то мгновение мы оба молчали. С возвышенности хорошо было видно, как впереди растекается трепещущее море, зримый поток жизни. Золотое кружево из солнечного света на утренней глади безбрежной воды. А вдали от берега неподвижно висела дымка над узкими улицами с глинобитными хижинами, крытыми землей и чешуйчатой черепицей.

— Рискую наскутить, но вопросы вырываются сами собою. При каких, интересно, обстоятельствах вам еще приходилось встречаться с Че Геварой? — заговорил Метин Демирташ, возвращая меня к далеким воспоминаниям, на путь свиданий.

— Была еще одна встреча. Спустя годы. Последняя. В Нью-Йорке, 12 декабря 1964 года. Гевара прибыл тогда во главе кубинской делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Мы увиделись в фойе, перед залом заседаний, среди множества собравшихся людей. Бросались друг другу навстречу. Мужские горячие объятия, минуты, когда не замечают изумленных лиц журналистов и «камераменов», которые толпами преследовали Гевару.

— Наверно, говорили и о токийской вашей встрече?

— Да, был разговор о минувших днях, о дружеском нашем общении в Токио. Новые ощущения нередко оборачиваются новым раскрытием познанного, когда-то испытанного.

— С глубоким уважением в сердце,— едва слышно добавил Метин Демирташ.

— Запомнилась мне речь Гевары с трибуны Генеральной Ассамблеи. До отказа наполненный зал. Теснили друг друга друзья и откровенные враги кубинской революции. Еще до появления оратора то и дело в адрес свободной Кубы раздавались злобные выкрики, оскорбительные слова...

Выход Гевары на трибуну, однако, был встречен громом рукоплесканий, а речь его, которую он произносил со свойственным ему темпераментом, покоряла аргументацией и революционной убежденностью, захватывала, обжигала сердца.

— Неужели можно так эмоционально читать текст? — внезапно вырвалось у поэта.

— Нет, читать, пожалуй, так невозможно. Это была живая речь. Безбумажная...

— Разве на дипломатических конференциях говорят без написанного?

— Очень редко. Скорее как исключение. Обычно читают заранее подготовленный текст.

— Кто готовит? Сам докладчик или еще кто-нибудь?

— Чужой текст произносить всегда опасно, особенно без предварительного его прочтения. У каждого автора своя фразеология, своя манера письма, а у некоторых еще и обязательная пунктуация, знаки препинания, нарушение которых при невнимательном отношении к тексту может narrowly смутить слушателей.

— Гевара,— заметил Метин Демирташ,— видно, хорошо владел ораторской грамматикой, знал лункутацию и умел расставить политические акценты... Убежден, что не могла не восхищаться его приверженность революционной идее, его свободолюбие, раскованность.

— Враги революционной Кубы чудовищно отреагировали на выступление Гевары. Они даже установили на противоположном берегу Ист-Ривер «базуку» и выпустили снаряд в высотное здание ООН в расчете на то, что под его развалинами погибнет Че Гевара, а вместе с ним и сотни участников сессии. Но снаряд не достиг цели: взорвавшись в воздухе, он лишь сотряс здание ООН.

Какое-то время мы стояли молча. Вспомнив прошлое в это солнечное утро, среди сияющей природы, я не мог не испытать вновь гнева к презренной кучке отъявленных террористов, которые готовы были пойти на любую подлость и злодеяние для достижения преступных целей.

— Может показаться удивительным,— неуверенно заговорил Метин Демирташ,— но и моя судьба в какой-то мере связана с именем Гевары...

А мне подумалось, что старания вознаграждаются сами собою. Каждый выбира-

ет себе сподвижников по своему разумению, по собственному наитию.

— В 1967 году,— продолжал поэт,— меня арестовали за стихотворение «Че», опубликованное в журнале «Тюрк солу». Тюрма, допросы, следствие.

Метин Демирташ на мгновение задумался, будто стремился что-то вспомнить. Мысль вскоре пришла, и он прочел строки из своего стихотворения «Песня на тюремной прогулке»:

Мчится время и ты в свое время  
Дорогую свободу возьмешь как невесту  
за локоть

И выйдешь на свет  
Тут начнут за тобою охотиться  
Мытарства и безработица  
Эта самая лютая наторга<sup>1</sup>.

Напрасны, однако, были старания недругов поэта — отбить у него охоту к жизни и творчеству они уже не могли, хотя репрессии не уступали своего места свободе и гуманизму. Его пугали, но он, очень похоже, не боялся. Не сломали поэта и безработица, нужда, лишения. Нелегким это было время, когда не обладал он никакими сокровищами, кроме «лунного серебра» и «яркого золота» утреннего солнца.

Общие испытания и общие надежды способны порой сблизить людей с особенной силой. И потому так искренне было волнение турецкого поэта, его скорбь по тому, чья жизнь оборвалась столь трагично. Горе потери неизменно. Но в горе и сила: «У боли есть и лицевая сторона — мужество, подвиг в жизни».

Вскоре мы выехали к морю. Дорога вела вдоль побережья. Насаждения сменялись пустырями, приморские виллы — убогими крестьянскими жилищами.

— Извините,— обратился ко мне Метин Демирташ, начав с привычного ему слова вежливости,— не приходилось ли вам встретиться с Пабло Нерудой?

Я ответил, что был знаком с латиноамериканским поэтом, мы подолгу беседовали, спорили — мы дружили, хотя нередко между нами пролегли целые континенты и океаны.

— Расскажите, пожалуйста, каков он, когда рядом с вами,— продолжал мой спутник.

— Исчерпывающе обрисовать Пабло Неруду мне не под силу. И не только, наверное, мне одному. В моем случае допустимо говорить лишь о каких-то впечатлениях, о том, что отложилось в памяти произвольно, самостийно. И пожалуй, останется навсегда.

— Детали, особенно какие-то неповторимые черты увиденной своими глазами поэтической личности могут сказать нам не меньше, чем литературные портреты, которые часто создаются людьми с помощью

<sup>1</sup> Полностью это стихотворение в переводе Юнны Мориц см. на стр. 4.

НИКОЛАИ ФЕДОРЕНКО  
КРАСКИ ВОСФОРА

общих рассуждений, — не без иронии заметил мой собеседник.

— С великим чилийцем впервые мы встретились в Пекине. Шел 1951 год. В Китай Пабло Неруда приехал вместе с Илейей Эренбургом, с которым был в давней дружбе. Мы не расставались почти все дни, что Неруда провел в Пекине. Его интересовали китайские писатели и художники, а у меня со многими из них были добрые отношения. Не скрою, мне доставляло немалое удовлетворение переводить беседы Неруды с китайскими литераторами.

— Извините, а Пабло Неруда знал русский язык? — спросил Метин Демирташ.

— Нет, не знал, не говорил; по крайней мере, я не слышал от него ни одного русского слова. Переводить приходилось мне с китайского на русский, а Эренбургу — с русского на французский, которым владел Неруда. К тому времени поэзия Пабло Неруды начинала приобретать известность в Китае: был издан сборник его стихотворений, включавший поэму «Лесоруб».

— Нелегко поверить в то, что испаноязычная поэзия может сохранить свое звучание в китайской иероглифике... Хотелось бы знать, как к этому отнесся сам Пабло Неруда? — спросил Метин Демирташ.

— По моим впечатлениям, Пабло Неруда был рад выходу сборника. Но китайский текст немало озадачил автора. Его очень интересовало и китайское звучание стихов и, конечно, точность, мастерство перевода. У меня в библиотеке до сих пор хранится экземпляр этого сборника с автографом Пабло Неруды, всегда напоминающий мне о наших раздумьях по поводу толкования поэтического текста при переводе на иностранный язык...

Метин Демирташ внимательно слушал меня, заметил, что он всегда с восхищением относился к Пабло Неруде как поэту и человеку, потом вдруг, явно волнуясь, заговорил громче обычного:

— И у нас есть «лесорубы»! Взгляните на эти роскошные виллы. Здесь, на прибрежной земле, росли вековые сосны неповторимой красоты. Их истребили одну за другой. Сперва корни этих могучих растений при ясном божьем свете обливали керосином, а затем под покровом ночи разводили огонь. Языки пламени обжигали корни, и деревья умирали. Обгоревшие сосны старательно рубили и выкорчевывали, словно они погибли сами собой. Так, на «законном» основании «лесорубы» уничтожили дар природы, предназначенный не для толстосумов и казнокрадов, а для всех людей; вырубали изумительную основную рощу из-за горстки магнатов, и они теперь умильно глядят на «простой народ» из окон своих роскошных башен.

...Вдоль морского побережья вознеслись над землей полусказочные чертоги, которые подчеркивали свое происхождение над убогими хижинами простояков. Да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... Жалкие хибары сарайного типа, сколоченные бедняками из строительных отбросов, разного рода коробок, обрезков

железа, теснились у самой воды. Картонные стены и перегородки. Никаких признаков элементарных удобств. Антисанитария. Обитатели этих «шатров» просуществуют лишь до осени, когда начнутся приливы и морские волны не оставят от печального этого табора никакого следа.

И всюду признаки противоборства, острой контрастности: бренность и распад рядом с неистребимой жизнью, улыбкой вечной природы. Все тут ждет, ждет движения, перемен.

И мне подумалось, как много здесь людей, что любыми путями, в ущерб самой животворящей природе со всей своей одержимостью стремятся возвыситься друг над другом, подняться по крутой и коварной лестнице на высшие этажи общества, в котором бедные становятся беднее, богатые — богаче, а могущественные — еще более могущественными. Демократия? Свобода? Права? Остаются вопросы, одни вопросы. Да, свобода, свобода денег, которые означают тут и демократию, и права человека, и полновластье. И чем больше капитала, тем больше свободы и власти. А у кого их мало, а то и вовсе нет? Какова власть и права у миллионов безработных и немущих? Что вынуждены они презреть, а что признать? Презреть пустые понятия, обманные декларации, манипуляцию словесами. Признать лишь землю, что под ногами, видеть бранных ее поселенцев, «не дьяволов и не святых» — оскорбленных и бесправных, которые прежде всего нуждаются в хлебе, самом простом, без примесей, грубого помола. «Нейлоновый» из-за океана — не нужен, слышал я не однажды от турецких литераторов. Он красив, но ненатурален, у него аптечно-синтетический вкус.

— А встречались вы с Пабло Нерудой в Москве? — осторожно вернул меня к интересующему его вопросу Метин Демирташ, когда по изгибам каменной дороге мы забрались почти на самую горную вершину.

— Верно, встречались — в Москве, спустя десятилетия после пекинского нашего знакомства. Произошло это в гостинице «Националь». Пабло Неруда, выполнявший в то время обязанности посла Чили во Франции, прибыл в Москву на несколько дней.

— Неруда как будто был тогда не совсем здоров?

— Да, но об этом он даже не обмолвился, хотя беседа наша продолжалась не один час. Скрыть это, однако, было невозможно. Каждые пятнадцать минут к нам приходила жена его с лекарством и стаканом воды, и Пабло Неруда безропотно принимал очередную порцию таблеток и микстуры.

— Теперь вы оба были в ранге чрезвычайных и полномочных послов...

— Да, по этому поводу Пабло Неруда, между прочим, заметил с улыбкой, что наше положение в дипломатии выровнялось: народная власть удостоила нас высокой чести: одного — раньше, другого — совсем недавно. Но обоих — революция.

— Был Пабло Неруда моложе самой весны,— вырвалось у турецкого поэта.

— Из пекиньских впечатлений, связанных с Пабло Нерудой, запомнился такой момент. Однажды во время вечерней трапезы в нашем посольстве мы угостили Пабло Неруду бутылкой чилийского белого вина, которую мне каким-то чудом удалось обнаружить в старом подвале. Бутылка была покрыта слоем пыли. Видно, пролежала многие годы. Даже надпись на этикетке выцвела от времени, и трудно было разобрать название. Пабло Неруда, однако, мгновенно установил истинно чилийское происхождение вина. Он любовно принял ладонью к стеклу, словно ощущая за ним какую-то частицу родной земли, и она будто приблизилась из-за океанской своей дали. Глаза его заметно увлажнились... А мне было так понятно его волнение.

— Нет, не минутная сентиментальность, не просто вспышка чувствительности... Дорогого это стоит,— неудержимо вырвалось у моего собеседника.

— В самом деле... Хотя, наверное, сперва было чувство, потом — мысль,— пытался я что-то объяснить то ли собеседнику моему, то ли себе самому. Трудно бывает понять, как происходит все это, но полное счастливого волнения лицо Неруды внезапно воскресило передо мной, пробудило в памяти что-то очень дорогое собственному моему существу, что-то сокровенное, неповторимое... Потянулась непрерывная нить воспоминаний, возвращая меня на годы вспять, которые навсегда унесла неостановимая река времени. И хотя многое безвозвратно тонет в бесконечном этом потоке, бьются живые мгновения, которые человек забыть не в силах, если бы даже жить ему суждено было вечно. Нет, память, в которую переливаются годы нашей жизни, отнюдь не всегда для нас беспощадная самоказнь.

— Такие минуты забываемы,— произнес Метин Демирташ после продолжительного молчания.

— Да, это верно. Немало событий минувших лет почти не оставили в моем сознании следа. А здесь еще живы во мне сама атмосфера непосредственности, волнение сердца...

— Отчего же так редки в нашей жизни минуты глубоких чувств, неодолимых движений сердца?

Вместе с тем каждый раз задумываешься, что все это, быть может, одна лишь сентиментальность? Слезы — не признак ли это слабости, излишней чувствительности? Разве человек не должен владеть собой, быть твердым, волевым?

— Но не слишком ли мы рационалистичны? Не приводит ли порой наша чрезмерная рассудочность к зачерствению, бессердечности, бездушности?

— Вы хотите сказать, что язык чувств как высокий дар природы и как средство человеческого общения заметно утрачивается? Поэзию и ощущение прекрасного невозможно сводить до уровня информации, кибернетического программирования, хотя в наш век электронно-вычислительной тех-

ники едва ли не все переводится на машинный язык... Ничто, однако, не может заменить то, что мы именуем душой человека.

— Творчество Пабло Неруды, по всей вероятности, хорошо известно вашим читателям? — осторожно поинтересовался Метин Демирташ.

— Его поэзия весьма популярна в нашей стране. Но Пабло Неруда во время московской встречи говорил не о себе, а о творчестве писателей-соотечественников, о взлете латиноамериканского романа, силе заключенного в нем социального начала, самобытности его содержания, выразительных средств. Прошлое и настоящее народов Латинской Америки, столкновение уходящего и наступающего, новое, критическое осмысление истории и реальности — все это, подчеркивал Неруда, интересует сегодня художников слова.

— Называл ли он, извините за назойливость, какие-либо имена, произведения?

— Да, несомненно. Об этом именно шла речь. Нескрываемую заинтересованность Пабло Неруда проявил в отношении творчества колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, о котором он говорил не только как о литераторе, но и как о человеке, о личном своем друге, давнем и очень близком. Неруда был чрезвычайно щедр в оценке дарования Маркеса. Ни о ком другом из писателей Латинской Америки не отзывался он столь горячо, как о нем.

— Прославился Маркес, на мой взгляд, своим романом «Сто лет одиночества», — заметил Метин Демирташ.

— Вероятно, благодаря этому роману, но, конечно, не только...

— Он издан на русском языке?

— Да, сперва перевод романа был опубликован на страницах «Иностранной литературы», затем вышел отдельной книгой...

— Имел, конечно, успех?

— Огромный. И среди читателей, и среди литераторов. Константин Симонов, смею упомянуть, как-то во время нашей беседы назвал «Сто лет одиночества» романом гениальным. Подобного мнения об этом произведении, насколько знаю, и другие советские художники слова — Георгий Марков, Борис Полевой, Михаил Луконин, Сергей Смирнов, Евгений Евтушенко, а также многие другие, с кем мне приходилось не однажды беседовать на эту тему.

Мы выехали на небольшую равнину, открывшуюся перед нами в горном ущелье. Вокруг теснились гигантские скалы. Метин Демирташ выбрал удобное место для стоянки машины, заглушил мотор, но оставаясь неподвижен, словно не желая расставаться со своими раздумьями, которые для него сейчас, кажется, существенно всего остального.

— Скажите, рискую быть слишком назойливым, был ли когда-либо Маркес в Со-

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО  
КРАСКИ ВОСФОРА



ветском Союзе? — спросил турецкий поэт, ожидавший, видимо, каких-то не последней важности деталей, недостающих ему для всей полноты картины.

Простым самым ответом, думалось мне, конечно, было бы короткое: «Нет, Маркес не бывал в Советском Союзе». Не нужно, однако, обладать даром пророчателя, чтобы предвидеть вопросы, недоумение и прочее. Все же одолело торопливое желание просто сказать:

— Нет, Маркес никогда не бывал в нашей стране.

— Невероятно... извините, мне трудно назвать хотя бы одного видного художника слова огромного нашего мира — на Востоке или Западе, — который не стремился бы побывать в Советском Союзе или не побывал бы у вас в стране хотя бы однажды...

— Достойно сожаления, но это так. Именно так, Маркес еще не бывал у нас, и, быть может, причина тут не только в нем самом.

— Неужели он не пожелал?.. — воскликнул Метин Демирташ и замолк на полуслове.

— Не берусь судить об этом. Люди не всегда последовательны... Небезгрешны, кажется, и мы, хотя и стремились к тому, чтобы увидеть его в Москве, приглашали, даже не однажды.

— Не могу этого понять, — сказал мой собеседник, сосредоточенно посмотрев на меня, как если бы до сих пор он прекрасного меня понимал, а сейчас...

— Пабло Неруда в день нашей московской встречи дружески, очень дружески сказал мне, что Маркес огорчен, считает себя незаслуженно обиженным.

— Это, извините, за что же?

— Дело в том, что его роман «Сто лет одиночества» был издан на русском языке с небольшими купюрами без предварительного согласования с автором...

— Как же это случилось?

— Об этом спросил меня тогда и Пабло Неруда. Отнюдь не желая оправдывать издательство «Художественная литература», я стремился объяснить ему, что необходимость этих купюр можно понять. Роман, на мой взгляд, лишь выиграл в глазах советского читателя, выиграл оттого, что был освобожден от некоторых слишком грубо натуралистических сцен, которые для нашего читателя, воспитанного на иной традиции, вряд ли приемлемы. И то, что предназначено для западного читателя, увы, не всегда может быть безоговорочно принято нами, с нашим мироощущением, с нравственными нашими представлениями и эстетическими понятиями.

— И что же Пабло Неруда?

— Мне запомнились его восторженные слова: Маркес — талантливейший художник,

талантливейший... И этот человек, подчеркнул поэт, не может не быть великим другом нового мира и творчества — Советской страны...

— Скажу вам, позвольте, слава Пабло Неруде, слава талантливейшему другу его — Маркесу, который, я уверен, посетит, непременно посетит обетованную землю советской литературы...

Вокруг нас высились горы. Плотно громоздились одна на другой чудовищных размеров серые скалы. И рядом с каменными глыбами — благородных линий колонны и резные порталы, чудом сохранившиеся среди руин, оставшихся со времен римского господства в этих краях. То был другой, далекий мир... Слово остановившееся время...

Вы ступаете здесь по истории, продвигаясь по древним каменным плитам. Дышите историей, стоя у колоннады с тяжелыми порталами. И кажется неправдоподобным то, что тысячелетия назад человек, владевший лишь техникой простого рычага, умел возводить поразительные эта дворцы из многотонных каменных глыб. Иное тут было течение времени, иные измерения, иные ощущения. От всего тут веет волшебством. Слово приотлилась среди этих скал частица самой вечности. Отчего же эта высокая культура погибла, оставив потомкам лишь развалины, которые навевают грустное очарование? Грозные, бурно сменяющиеся события?.. И каковы законы преемственности культурных ценностей, эстетических идеалов и норм? И захотелось знать, какую информацию тревожного нашего века в цепи времени донесет человечество грядущим поколениям, обществу будущего?..

Нежданный разговор в самом начале пути после Софийской встречи писателей с одним из молодых турецких поэтов приблизил меня к миру интересов творческой молодежи страны, расширил взгляд на внешнюю ее духовную жизнь. Это был для меня живой час, который трудно забыть.

Молодые поэты Турции живут в насыщенной тревогой атмосфере. Им невозможно отделить свою судьбу от происходящих вокруг событий. Стихи их — сама жизнь, ее невзгоды, лишения, надежды. Поэты берут эту реальность бытия и превращают в обжигающие строки, чтобы преодолеть выпавшие на долю людей испытания. В этом, кажется, обнаруживаются те самые точки в человеческой душе, где таятся нервные сплетения тревог беспокойной нашей планеты.

И есть у них вера, вера в то, что людям дано справиться со всеми бедами на земле, найти верное решение мучительных проблем.